

Семен Венгеров

Русская литература в 1881 году



Семен Афанасьевич Венгеров

Русская литература в 1881 году

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22094234

Аннотация

«Несколько лет тому назад пришлось мне быть в Берлинском университете на лекция знаменитого национал-либерала и в то же время профессора всеобщей истории – Генриха Трейчке. Он читал о Наполеоне, о его борьбе с Германией. Если принять в соображение, что дело происходило несколько лет тому назад, т. е. после достославной битвы при Седане, то не трудно угадать, какого мнения должен был быть о победителе при Иене Трейчке, агат прусский „патриот своего отечества“, видящий в Бисмарковской политике вершину германского национального гения, а за Пруссией признающий специальную историческую „миссию“ главенствовать над прочими немцами...»

Содержание

I	21
II	35

Семен Венгеров

Русская литература

в 1881 году

Inter arma silent leges.
Древняя поговорка.

Inter arma silent musae.
Современная переделка.

Несколько лет тому назад пришлось мне быть в Берлинском университете на лекция знаменитого национал-либерала и в то же время профессора всеобщей истории – Генриха Трейчке. Он читал о Наполеоне, о его борьбе с Германией. Если принять в соображение, что дело происходило несколько лет тому назад, т. е. после достославной битвы при Седане, то не трудно угадать, какого мнения должен был быть о победителе при Иене Трейчке, агат прусский «патриот своего отечества», видящий в Бисмарковской политике вершину германского национального гения, а за Пруссией признающий специальную историческую «миссию» главенствовать над прочими немцами. И действительно, он с пламенным воодушевлением метал на Наполеона грома своего уничтожающего красноречия, выбирая самые мрачные краски, не скупясь на самые резкие характеристики и смешивая с гря-

зью всех, кто иначе смотрит на корсиканского злодея. Гейне, напр., за восхваление Наполеона в Buch Legrand, Трейчке обозвал «genial-niederträchtig».

В конце концов, хотя негодование красноречивого профессора и не вытекало из стремления к правде, а обуславливалось желанием унижить врага, с ним нельзя не согласиться. И кто в самом деле после того, как трезвые исследования рассеяли поэтический туман Наполеоновской легенды, станет преклоняться пред узником Св. Елены? Но в своем обличительном усердии Трейчке пересолил и стал доказывать совсем уже ни с чем несообразную вещь – ничтожество Наполеоновской эпохи. В доказательство он приводил то, что Наполеоновская эпоха ничем выдающимся не проявилась в искусстве, кроне шумных опер Спонтини. В этом обстоятельстве Трейчке, очевидно, исходя из формулы «искусство есть отражение жизни», видел торжество своего взгляда на Наполеона, как на счастливое ничтожество. Ничтожная эпоха – ничтожное отражение.

С первого взгляда Трейчке как будто прав выходит, так как нельзя же отрицать того, что искусство есть отражение жизни. Но дело в том, что со всякою теорией нужно обращаться осторожно и никогда не следует ее применять непосредственно, без связи с условиями данного исторического момента. И действительно, стоило бы Трейчке оглянуться еще двумя десятками лет назад и он бы убедился в полной несостоятельности своего метода. Ведь ему бы пришлось то-

гда признать ничтожной эпохой французскую революцию, на что у него едва ли бы хватило смелости. На Наполеона есть разные взгляды. Есть люди боготворящие его и есть весьма серьезные историки, которые с пьедестала славы и величия шлепают его прямо в грязь. Но сам г. Варфоломей Кочнев из *Русского Вестника*, занявший в почтенном журнале амплуа Кифы Мокиевича и с таким несравненным глубокомыслием рассуждающий о том, что было бы, если бы да кабы Людовик XVI-й не «уступил» демагогам, – сам г. Кочнев, говоря, не станет отрицать, что французская революция 1789 года принадлежит к величайшим эпохам всемирной истории. И что же? – Эта великая, эта грандиозная эпоха, заложившая фундамент ново-европейской жизни, вверх рож перевернувшая тысячелетний строй общества и государства, породила жалчайшее искусство, поражающее своим убожеством, скудостью мысли и содержания. Кроме «Марсельезы» (как музыкального произведения) о двух-трех пьес Андрэ Шенье французская революция ничего не дала искусству. Да и что такое, в конце концов «Марсельеза» и стихи Андрэ Шенье? – Не больше как хорошие вещи, во всяком случае бесконечно уступающие в широте размаха эпохе, их произведшей.

Не трудно отыскать причину этого явления. Как и в отдельном человеке, в каждом народе есть известная сумма творческих сил, которые он, конечно, проявляет и направляет сообразно обстоятельствам того или другого исторического момента. Но эта сумма творческих сил имеет свои бо-

лее или менее определенные границы, расширить которые обстоятельства данного исторического момента не в состоянии. Правда, обстоятельства могут пробудить дремлющие силы, до того бывший в потенции и для наблюдателя прежде неуловимые, но все-таки не по всем направлениям, не во всех областях человеческого духа, а только в какой-нибудь одной и непременно в ущерб другим. Это своего рода закон круговорота сил, применимый не только к явлениям мира материального, но и к явлениям мира духовного. Коллективная мысль того или другого народа, устремляясь в одну сторону, неизбежно ослабляет прилив сил к другим. Вы не найдете в истории такой эпохи, которая дала бы импульс всем творческим силам человека. Непременно какая-нибудь одна человеческая способность получит преобладание и наложит свою печать на эпоху. Есть свои особые эпохи процветания наук, свои особые эпохи высокого развития литературы, расцвета искусств, блеска философии, наконец свои эпохи преимущественного нравственного возбуждения, возникновения новых мирозерцаний, новых религий. В Испании и Италии века невежества и обскурантизма, шли рука об руку с высшим развитием изящных искусств, а с другой стороны, освежительный в умственном отношении 18-й век в искусстве ничем соответствующим этому блеску себя не проявил. Есть целые народы, которые, раз устремивши все свои творческие силы на одну область человеческого духа, совершенно теряют остальные. Таковы северо-американцы, идущие

щие во главе всех практических изобретений и страшно отставшие в литературе и искусстве. Наконец, что более всего может нас убедить в существовании, известного равновесия творческих сил, это – полное: несовпадение эпох нравственного возбуждения с эпохами процветания литературы. Казалось бы, они должны были находиться в ладной гармонии; казалось бы, что литература – это проявление и воплощение души человеческой – должна была достигнуть крайних высот своих в те моменты жизни человечества, когда оно жаждет нравственного обновления, когда оно желает стряхнуть с себя старую гниль и возродиться в новой, лучшей жизни. И однако ж ничуть не бывало. Эти эпохи рождают великие характеры, но не рождают великих писателей, которые, напротив того, живут и пишут свои: бессмертные произведения при самых раздваивающих условиях: «Золотой век» римской литературы был при Августе; Данте пишет свое бессмертное произведение в эпоху глубочайшего упадка нравственности; Сервантес создает «Дон-Кихота» при зареве инквизиционных костров Филиппа II; Шекспир живет при мишурном дворе Елизаветы; Корнел, Мольер, Расим пресмыкаются пред Людовиком XIV; гнусная эпоха регентства видит расцвет гения Монтескьё и Вольтера. А эпоха возникновения христианства, непосредственная эпоха гуситско-таборитского движения, наконец французская революция – ничем выдающимся в литературе не ознаменованы. Отчего? – Оттого, конечно, что в такие эпохи даровитые люди находят

применение своих талантов к жгучим интересам минуты и вместо того, чтобы стать поэтами, ваятелями, живописцами, становятся агитаторами, проповедниками, «ложными пророками», трибунами, государственными деятелями. Возьмите, например, Сент-Жюста. Какое может быть сомнение в том, что родился этот небесной красоты юноша, с вдумчивыми, обаятельно-прекрасными глазами, литые десятью годами раньше – и из него вышел бы нежный певец сладости любви и прелестей сельского уединения. Что такое первые деятели христианства, как не величайшие поэты с громадной силой воображения, с глубоким чувством эстетической гармонии, полный творческой, художественной фантазии, но только не оставшиеся на почве простого искусства, а воплотившие в жизнь священный огонь поэзии, пылавший в их груди! В другое время они бы, конечно, не вышли её пределы книжной поэзии, но теперь их захватывает течение века и они вместо пророков книги становятся пророками жизни. То же самое можно проследить и в таборитском движении. В истории чешской литературы оно занимает далеко не выдающееся место. Последующий век бесконечно меньшего нравственного воодушевления обладает гораздо более совершенной литературой. Но за то сколько глубокой, потрясающей поэзии, ярких художественных образов, метких, колоритных выражений, силы мысли было в пламенных речах проповедников Таборской горы! Эти речи можно назвать потенциальной литературой: все элементы её на-лицо. Каждая речь та-

борских пророков есть живая поэма.

Таким образом и выходит, что хотя искусство и есть отражение жизни, но далеко не всегда отражает оно всю полноту её, далеко навсегда дает оно полное понятие об интеллектуальной и моральной силе того или другого исторического момента. Чтобы точно я правильно судить об этой силе, нужно посмотреть, нет ли таких побочных путей, в которые устремился народный гений помимо искусства. Оттого и неправ Трейчке, не принявший во внимание, что в Наполеоновский период национальный гений Франции ушел на выработку лучших воинов новой истории и на кодификацию не только законодательную, – но и житейскую новых принципов, провозглашенных революцией 1789 года.

У древних римлян существовал афоризм: *inter arma silent leges*. Буквально это значит: во время войны безмолвствуют законы. Но тут кроется более глубокий смысл. *Leges* значит не только законы, но вообще нормы. И можно, значить, так понимать приведенный афоризм: во время войны, т. е. в экстраординарное время, обычные нормы жизни теряют свое значение. Наступает какое-то особое положение вещей, имеющее свои специальные особенности, которые нужно тщательно проанализировать, чтоб отделить в них временное, преходящее от органического, коренящегося в природе того или другого явления. Трейчке не хотел допустить мысли, что по обстоятельствам времени народная мысль могла кристаллизироваться в необычные формы, и потому пришел к со-

вершенно ложным выводам. Он должен был понять, что *inter arma silent non solum leges, sed et musae*.

Тут я подхожу к самой сказке, ради которой говорилась вся эта присказка, т. е. к рассмотрению вопроса о том, почему русская литература в последние годы, а в частности в 1881 году, так мало соответствует высоте переживаемого Россией исторического момента. Нужно пап теперь повести разговор с нашими домашними Трейчке, которых вы в изобилии найдете во всяком журнале и во всякой газете. Кто в самом деле, коснувшись современных русских писателей и сравнивши их «с стаей славной орлов» сороковых годов или даже с деятелями нашего «возрождения» – людьми шестидесятых годов, не предастся самым мрачным мыслям по поводу ничтожества современной эпохи? Наши Трейчке с большим удовольствием любят говорить о мошках и букашках, вылезших из озелей на смену богатырям. Послушать их, так выходит, что таланты вырождаются, ремесленность сменяет огонь Прометея, так ярко пылавший в груди прежних, «настоящих», писателей, и литература теряет уважение общества, которому только и остается, что отвернуться от современной литературы и начать перечитывать старое. И замечательно, что подобный пессимизм вы встретите далеко не у одних только «консерваторов», которые *ex officio* должны охуждать все современное. Нет, поговорите с любым либералом шестидесятых годов – и вы встретите в нем такое же высокомерное отношение к современности, такое же старче-

ское брюзжание и благоговейное отношение к «доброму старому времени», только с той разницей, что для «консерватора» это доброе старое время помещается примерно лет сорок тому назад и воплощается в помещичьем быту, а у «либерала» оно находится всего лет двадцать тому назад и рисуется в образе *Современника*, *Русского Слова*, воскресных школ и других явлений «общественной инициативы» шестидесятых годов. И опираются наши Трейчке именно на то же самое, на что опирается их германский образец – на «ничтожество» современной литературы. Теперь, видите ли, сонная одурь в литературе, а «тогда» в ней жизнь ключом била, журналы ломались от хороших статей и литература стояла во главе эпохи, а не в хвосте её. Ясно, следовательно, что наше время – ничтожное, что теперь – «упадок», «вырождение» и т. д.

Смешно и жалко слушать все эти речи. Злость берет при виде этого близорукого непонимания, что никакого «вырождения» нет, что «упадок» мнимый, что просто творческие силы отвлечены в другую сторону. Мы переживаем теперь такой своеобразный исторический момент, живем при таких необычных условиях, что прилагать к ним обычные мерки – значит придти в самым нелепым выводам. Мне уже приходилось высказываться в другом месте, что мы, современники последнего фазиса русской жизни, сани еще не в состоянии представить себе всю необычайность его, и когда пройдет много, много лет, иные моменты, иные факты, имевшие место в последние годы, покажутся нам же самым легендар-

ными. Дело в том, что можно положительно утверждать, что ни одна эпоха русской истории не видела такого грандиозного проявления идеализма, как именно последние 10 лет. Мы говорим, конечно, об эпохах в жизни русской интеллигенции. Народ уже переживал – такие эпохи фанатического идеализма, – стоит только вспомнить эпоху первых гонений за «старую веру». Но так-называемое «общество» русское еще впервые переживало такой жгучий фазис. Самые отдаленные идеалы казались близко осуществимыми, для самых отдаленных мечтаний приносились самые реальные жертвы и твердая решимость действительно положить душу свою её благо ближнего становится почти массовым свойством.

Ни с чем иным, писали мы, не можем мы сравнить эту знаменательную эпоху русской жизни, как с эпохой возникновения таборитства, т. е. с Чехией начала XV века, когда, но словам хронистов, до всей стране широкою волной разлилось совершенно лихорадочное желание заботиться о благе ближнего, когда злобная формула «homo homini lupus» как бы потеряла свое вечное применение, когда дворяне и духовные, горожане и сельчане слились в одном стремлении к нравственному совершенствованию., когда серьезно надеялись возвратить первые времена христианства, когда сословный и личный эгоизм казался омерзительным, когда полное подчинение единичных интересов общественному благу стало обязательным для всякого нравственно-чуткого человека.

Не все, конечно, русское «общество» и не вся даже рус-

ская молодежь в одинаковой степени прониклись такими чувствами и стремлениями, – ветхий Адам слишком сильно сидит в нас. Но все, что было нравственно-свежого за последние годы, – все, что не потеряло в погоне за корыстью человеческого облика, пристало если не делами, так, по крайней мере, помыслами к новому течению русской общественной мысли, к страстному желанию во что бы то ни стало сделать правду и справедливость основой общественного строя.

Ни место, ни «независящие обстоятельства» не позволяют нам иллюстрировать свои мысли фактами, почерпнутыми из жизни всех слоев русского общества. Нам остается только надежда, что со временем отчетливое представление об идеализме последних лет, подкрепленное длинным рядом красноречивых цифр, длинным списком почти фантастических фактов, длинную вереницей имен людей, мало чем уступающих нравственно силой первым христианам, – что такое представление вырисуется под пером добросовестного исследователя во всем своем строгом величии, во всей своей нравственной чистоте¹.

Спрашивается, может ли подобная эпоха иметь высоко-развитую литературу? Мыслимо ли, чтобы дула такого исторического момента, который всего меньше можно, на-

¹ «Отклик» – литературный сборник в пользу студентов и слушательниц высших женских курсов. С.-Пб. 1881 года. Статья наша: «Достоевский и его популярность в последние годы», стр. 289.

звать теоретическим, воплотилась в искусстве? Могут ли на него уйти лучшие умственные и душевные силы современного поколения, когда уму и сердцу современного поколения приходится думать и действовать совсем в другом направлении, когда оно поставило себе совсем другие задачи, которым и отдает всю полноту своего душевного, настроения? *Только, по то, в чем выразилась эта душевная полнота, можно судить современную эпоху.* В литературу она, по основному характеру своему, не могла воплотиться, – значит, нечего нашим, доморощенным, Трейчке витийствовать на эту тему.

Что удивительного, что тридцатые и сороковые годы имели блестящую литературу? Именно так и должно было быть, потому что душевные потребности «хорошего» человека сороковых годов вполне удовлетворялись литературой, потому что была возможность душевной полноте человека сороковых годов целиком Оторазиться в искусстве. Какие, в самом деле, были потребности лучших людей тридцатых и сороковых годов, чего они хотели, к чему стремились? – Возьмемте кружок Станкевича, несомненно центральный для своего времени во всех отношениях – и по умственным качествам его членов, и по нравственному облику их; возьмемте лучшего и даровитейшего человека этого кружка – Белинского: где лежали его идеалы? – В искусстве, я только в искусстве. В искусстве он видел центр тяжести жизни, человечества. Только в самом конце деятельности Белинского в нем

пробудилась жилка общественная и тогда только ему стало тесно на литературной трибуне. А до того где же было лучшее место для призыва к неопределенным идеалам вечной красоты, к погружению себя в бездны Гегелевской философии, в туман шеллингионизма, – словом, к витанию в надзвездном эфире знаменитой в 40-е годы «Sohönseeligkeit». «Sohönseeligkeit» – вот она лучшая характеристика людей сороковых годов, направивших все свои духовные силы на воспитание в себе изящного «Gemüth'a» и только очень поздно, на рубеже уже следующей эпохи, хватившихся, что как-то неловко развивать в себе тонкость чувств и высоту интеллигенции на счет крепостного крестьянина. Для таких людей литература и вообще искусство есть все, арена деятельности, выше которой они себе ничего представить не в состоянии, к которой они могут приложить все свои душевные силы и на которой они могут проявить все, что возникает в уме и сердце. Не забудьте, что для человека тридцатых и сороковых годов, т. е., конечно, для такого, который составлял соль своего времени, вовсе не было никакой другой деятельности, кроме литературной. Не возражайте мне, пожалуйста, указанием на «независящие обстоятельства», которые мешали человеку сороковых годов приложить свои силы в чему-либо иному, кроме литературы. Это возражение неосновательно. Конечно, и «независящие обстоятельства» имели место, но ведь в конце концов не могут же они убить *потребность*. А вот этой-то потребности общественной деятельно-

сти, практического осуществления своих идеалов, проведения в жизнь дорогих сердцу принципов, – этой-то потребности, которую в современном человеке не могут уничтожить никакие «независящие обстоятельства», и не было в людях сороковых годов. Они культивировали свою душу, а об остальном заботились мало. «Лишний человек» сороковых годов считал себя лишним, потому что потерпел неудачу в личных делах, потому что на «*пиру* природы» ему нет места. А что можно искать место не на пиру только, ему и в ум не приходило.

Так вот отчего была блестяща литература сороковых годов: это был единственный путь, единственный канал, чрез который устремлялись силы современного интеллигентного ума в море русской жизни.

Литература шестидесятых годов была уже менее блестяща, чем литература тридцатых и сороковых, потому что, как и наше время, шестидесятые годы – эпоха по преимуществу общественная и помыслы современников только отчасти были направлены на литературу. Но все-таки литература шестидесятых годов – один из самых оживленных периодов русской письменности (именно оживленный и вовсе не излишне-талантливый), потому что воздействие на общество путем проведения новых идей в литературе составляло один из главных пунктов программы деятельности «хороших» людей того времени.

Ничего такого теперь нет. Условия жизни иные, взгляд на

силу воздействия литературы изменился, не находит чуткая душа в литературной деятельности успокоения для запросов совести, призывающей к исполнению главного завета Евангелия, – ну, и уходят лучшие силы современного поколения совсем в иную сторону.

Так вот оно как дело-то в самом деле обстоит, господин тоскливый российский читатель! Не верьте газетным и журнальным Трейчке, старающимся уверить вас, что теперь – «упадок», «вырождение» и ничтожная эпоха. Все это – жестокая неправда. Время теперь героическое, на которое потомки будут взирать с глубоким удивлением; творческих сил – и умственных, и нравственных – целая бездна, а что они не видны в искусстве, так нужно ли из-за этого особенно огорчаться? Не все ли равно, в чем сказывается искра Божия? Лишь бы только сказывалась, лишь бы видно было, что не утрачено стремление к истинно-человеческой жизни, стремление к идеалу. О, этого стремления теперь много, очень много! Поэтому тусклость современной литературы ни в каком случае не есть упадок, да есть вырождение, а простое отвлечение творческих сил в другую сторону. Будьте уверены, смущенный читатель, что пусть только придем в некоторый порядок хаос последнего времени, пусть уляжется жгучесть современного момента, направляющего все помыслы в одну точку, и мы будем свидетелями такого расцвета русской литературы, который всех ослепит своим блеском и великолепием. Не может это иначе быть. Коллективная

мысль 90-миллионного народа, с каждым годом все более и более проникающегося знанием и потребностью умственной жизни, не может не выразиться в грандиозных созданиях литературы и искусства. И теперь уже широта размаха русских талантов поражает зала дно-европейских наблюдателей. Эта широта творческого размаха есть прямое следствие широты начал, кроющихся в русской жизни, гармоничный отзвук гигантской территории, гигантских рек, непроходимых лесов, бесконечных степей, а главным образом – широты нравственных стремлений, составляющей лучшее достояние русского народа. Дайте только укрепнуть слиянию русской интеллигенции с родным народом, с каждым годом все прочнее и прочнее пускающему корни, дайте установиться этому единению – и широта размаха русских творческих сил должна увеличиться вдесятеро, как увеличились силы Антея, когда он прикоснулся к матери-земли. Итак, да здравствует светлое будущее русской литературы, выразительницы душевной жизни гигантского народа! Что же касается нынешнего неприглядного вида её, того, что истинные представители русских творческих сил устарились и молчат, а раздаётся только громкий лай представителей темных начал русской жизни, то будем утешаться словами молодого поэта Пинского, самого талантливого и отзывчивого из поэтов нового поколения:

Не тревожся, недремлющий друг,

Если стало темнее вокруг,
Если гаснет звезда за звездой,
Если скрылась луна в облаках,
И клубятся туманы в лугах:
Это стало темней – пред зарею...

Не пугайся, неопытный брат,
Что из нор своих гады спешат
Завладеть беззащитной землей,
Что бегут пауки, что шипя
На болоте проснулась змея:
Это гады бегут – пред зарею...

Не грусти, что во мраке ночном
Люди сладким покоятся сном,
Что в безмолвии слышны порою
Только глупый напев петухов
Или злое ворчание псов:
Это сон, это лай – пред зарею...

I

При печальных ауспигиях начался литературный 1881 год. В самом начале его из рядов литературной армии были два крупных, передовых бойца: сначала Писемский, а через несколько дней Достоевский. Знаменитая плеяда сороковых годов, таким образом, получила огромную брешь. Два года тому назад она потеряла Некрасова, теперь еще двух настало. А новые-то боги, по словам наших Аристархов, что-то не очень спешат на смену... Не удивительно, что души ревнителей русской литературы сильно опечалились насчет будущего её. Там как относительно этого будущего мы только что беседовали с вами, читатель, то я и не стану повторять своих доводов. Ограничусь теперь только замечанием, что Аристархи несколько поспешили со своими касандриными предсказаниями. Не сообразили они, что знаменитая-то плеяда писателей сороковых годов тоже не сразу знаменитой стала, не в сороковых годах, а так, примерно, в шестидесятых. Тургенев, Островский, Щедрин, Некрасов, Толстой и Достоевский настоящими литературными грансьёрами стали не сразу, а проведши таки нарядное количество лет в маленьких литературных чинах. В одном из выпусков «Дневника писателя» Достоевский заметил, что вот уже тридцать лет читает он литературные отчеты и всякий раз натывается на одну и ту же плачевную иеремиаду: «в на-

ше время, когда такое оскудение литературных сил, когда в литературе хоть шаром покати». Замечание Достоевского безусловно верно. Возьмите отчеты Белянского, просмотрите критические статьи шестидесятых годов, наконец возьмите современные нам литературные обозрения, и вы подумаете, что все они относятся к одному и тому же времени, – до того им всем обща неудовлетворенность наличным составом литературных деятелей. А между тем за этот период русская литература обогатилась целым рядом первоклассных произведений, за этот период окончательно сформировалась та блестящая «плеяда», которую тычут в глаза современному поколению наши Аристархи. Такова уж человеческая натура – не видеть и не оценивать того, что на глазах происходит. Требуется известное расстояние для правильного определения. И выходит поэтому такая путаница: в сороковых и пятидесятих годах, когда появлялись наиболее крупные вещи теперешних корифеев наших, критики плакались на литературное безвременье, а в шестидесятых и семидесятых годах критики, указывая на писателей сороковых и пятидесятих годов, говорили современным: «богатыри не вы, а вот эти». Когда же эти «эти» успели стать «богатырями?» И думается мне, что непременно та же самая путаница приключится и с нынешними писателями. Теперь им в глаза самым неделикатным образом говорят о вырождении русской литературы, о том, что со смертью старых корифеев пусто станет, а лет чрез двадцать наверное с большим уважением будут от-

носиться к «плеяде семидесятых и восьмидесятых годов», к «Глебам Успенским, Златовратским, Гаршиным», которые и будут ставиться в пример начинающим.

Тут мне нужно несколько оговориться, чтобы не подвергнуться упреку в противоречии самому себе. Выше я соглашался с тем, что литература ваших дней не стоит на высоте современного момента, а теперь я говорю о несправедливом отношении к нынешним талантам. Продолжаю, однако же, стоять на том и на другом и не вижу тут противоречия. Действительно, современная литература не стоит на высоте современного момента, но только оттого, что момент страшно крупный. Достойно отразить такой момент может только гений, как отразил своею поэзией конец прошлого столетия Байрон. Такого Байрона теперь нет в нашей литературе ни между молодыми писателями, ни между старыми, хотя в известной степени и только-что умерший Достоевский; и здравствующий гр. Толстой сильно захвачены течением эпохи. Нельзя действительно отрицать, что чувствуется нужда в литературном пророке, который бы «ударил по сердцам с неведомою силой» и выяснил бы в ясных созданиях искусства то, что бессознательно накопилась в душе современного поколения. Все это так. Но все-таки наши Аристархи положительно слишком пессимистски смотрят на современную литературу, которая имеет много писателей, как гг. Глеб Успенский, Златовратский из более старшего поколения и гг. Гаршин, Альбов, Осипович, Минский и др. из более млад-

шего, обладающих весьма недюжинным дарованием и имеющих все шансы стать со временем весьма солидными литературными деятелями.

Все это, однако же, не к тому говорится, чтоб ослабить впечатление от смерти Писемского и Достоевского. Нет, потеря огромная, незаменимая. Смерть Писемского еще не очень большая утрата, так как в сущности в этом году только похоронили его. А умер-то он уже давно. В последних произведениях своих это уже не был тот Писемский, которого Писарев за могучий реализм ставил выше Гончарова. Только редкими оазисами мелькали в «Масонах» и других вещах последнего периода деятельности автора «Тысячи душ» места, отмечаемые действительным дарованием.

Не то – Достоевский: Он умер в полном расцвете таланта, в апогее громадного влияния, в полном обладании своего чудного дарования, унося с собою в могилу массу величественных планов целого ряда художественных произведений, которые, нет сомнения, так же ослепили бы нас своею внешнею и внутреннею красотой, как ослепляли все другие-его произведения. Без него-таки пусто; чувствуется, что нет человека, который бы вам завинтил нервы до щемящей боли, – нет человека, который бы перевернул вам всю душу, лег бы на нее кошмаром, но в то же время указал бы вам ясный как день путь к облегчению душевной тоски. Проникновенное слово Достоевского было благовестом, призывавшим чуткие души на подвиги добра и справедливости,

отвлекавшим их от тщеты мелких интересов и переносившим помыслы в светлую область духа, где нет тех мерзостей и гадостей, совокупность которых образует так-называемую «жизнь». Кто-то займет его место? Кто из «солидных» писателей не устыдится, в век банков и рационального хозяйства, говорить о любви, как о единственной основе государственных и общественных отношений? Толстой разве...

Поведши речь о смерти Достоевского, я не могу обойти молчанием его похорон, так как в сущности это самый яркий факт в литературной летописи прошлого года. Впрочем, не только в летописи прошлого года, – похороны Достоевского составляют один явь самых крупных фактов всей истории русской литературы, наглядное выражение того высокого положения, которое удалось занять литературе в сознания русского общества. Нужно, ли более блистательное опровержение уверений пессимистов, кричащих о том, что общество охладело к литературе! Хорошо охладело, когда писателю устраиваются в буквальном смысле царские похороны, когда экспромтом, не сговорившись, без всякой газетной агитации, все слои русской интеллигенции спешат торжественно заявить свое горе по случаю утраты человека, сильного только полетом своего гения, только теплотой любящего сердца, чуткого к страданиям ближнего. Кто-то, основываясь на многочисленности молодежи, пришедшей провести автора «Униженных и оскорбленных» в его последнее жилище, назвал похороны Достоевского смотром «нигилистиче-

ской» армии. Не стану здесь входить в рассмотрение вопроса этого, много ли было «нигилистов» на похоронах Достоевского, а можно ли их поэтому назвать «нигилистическим» смотром. Но несомненно, что это был смотр, – смотр мыслящих элементов русской столицы, смотр русских интеллигентных сил. И сил этих оказалось очень много...

Вяло пошла без Достоевского деятельность «плеяды». Только одна Щедрин неутомимо работал, не взирая ни на какие невзгоды. Остальные же орлы славной стая сороковых годов более или менее отдыхали на лаврах или же если расправляли крылья, то не всегда по-орлиному, Гончаров совсем молчал и ничем не дал знать о сей, если не считать отдельного издания «Четырех очерков». Молчал также Толстой, но впрочем, не так, как Гончаров, творчество которого заснуло мертвым штилем. У Толстого, если судить по радостным ожиданиям литературных кружков, затишье пред бурей, сиденье Ильи Муромца перед тем, как он расправил свои богатырские члены. Дай-то Бог.

Островский написал свою обычную ежегодную драму для январской книжки *Отечественных Записок*, которая весьма мало прибавила к «*тоталитету*» его известности, говоря кудреватым выражением Белинского.

Не много дал и Тургенев – два маленьких рассказа. Один («Из старых воспоминаний») в первых номерах новой газеты, второй – «Песнь торжествующей любви» в ноябрьской книжке *Вестника Европы*. Я сказал, что не много нам дал

Иван Сергеевич. И действительно an und für sich две крошечные повести, – весьма немного для целого года жизни писателя, еще вовсе не дряхлого. Во Франции и Германии писатели в возрасте Тургенева затевают самые обширные литературные предприятия и до конца дней своих продолжают работать, так что смерть застает их на поле битвы с пером в руках. Но у нас, как известно, «климат другой», смена поколений идет с страшною быстротой и писатель весьма рано начинает чувствовать, что он «отстал», не умеет «уловить момент». А отсюда уже, конечно, не далеко до того, чтоб у писателя и совсем руки опустились. Так оно и случилось с большинством писателей сороковых годов, как только им пришлось столкнуться с первыми проявлениями не безусловно-панегирического отношения к их взглядам. Мягчайший и впечатлительнейший Иван Сергеевич, как известно, уже в 40 лет, только-что написавши «Дворянское Гнездо» и «Отцов и детей», просился самым настоятельным образом на покой, находя, что с него «довольно». И вот, принявши во внимание эту капризность музы Тургенева, мы должны быть рады и двум маленьким рассказам. Ведь сообщали же газеты, что Иван Сергеевич обещал совсем «положить перо». Остряки по этому поводу говорили даже, что вероятно последние рассказы Тургенева «писаны крандашом».

Но пером ли, карандашом ли написаны рассказы «Из старых воспоминаний» и «Песнь торжествующей любви», они написаны превосходно. Конечно, «тоталитет» знаменитости

Тургенева настолько велик, что лишний лавр в венке его славы не может быть особенно замечен, но читающая-то публика во всяком случае должна быть благодарна великому художнику за данную ей возможность еще лишний раз испытать то высокоэстетическое удовольствие, которое получается при чтении произведений автора «Записок охотника». Отрадно было убедиться из новых рассказов, что талант великого романиста ни на одну йоту не ослабел, что он по-прежнему блещет всеми своими художественными красотами. Это впечатление тем более отрадно было выносить, что в произведениях Тургенева последних пяти-шести лет нельзя было отрицать известной тусклости исполнения и вялости замысла. Судя по ним, можно было подумать, что Ивану Сергеевичу действительно лучше всего положить перо, чтобы не портить «тоталитета». Но последние рассказы говорят противное: они положительно дают право надеяться, что Иван Сергеевич еще послужит родному искусству. И с большим интересом ожидаем мы «Самиста», о скором появлении которого извещают газеты.

Из двух новых рассказов Тургенева более значительная литературная величина – «Песнь торжествующей любви», которая поэтому и наделала гораздо большего шума, чем «Из старых воспоминаний». Последнее произведение при том было напечатано в газете и потому прочтено сравнительно немногими. А жаль, потому что рассказ прекрасен. Перед нами необыкновенно яркая жанровая картинка из времен

крепостного права, когда даже в самом «милом» и «добром» барине сидела такая огромная доза азиатского самодурства. В общем «Из старых воспоминаний» может быть названо новой главою «Записок охотника», и притом одною из лучших. Написан рассказ необыкновенно колоритно и «сочно», как говорят художественные критики, детали отделаны замечательно тщательно. Если вы, читатель, еще не прочли «Из старых воспоминаний», постарайтесь их достать, – получите час истинно-художественного наслаждения.

Но «Песнь торжествующей любви» ни, читатель, конечно давно прочли. Передавать поэтому её содержание мне нет надобности. Да и можно ли передавать содержание таких вещей, где все – игра солнечных лучей и переливы красок? Можно ли передавать словами аромат благоухающего цветка и блеск алмаза? Все это нужно самому видеть, самому вдыхать. «Песнь торжествующей любви» – именно и есть литературный цветок, блестящий всеми цветами радуги и полный чудного благоухания. Нужно ее самому читать, нужно самому окунуться в поэзию этой сказки, сотканной, из мистического мрака индийского Востока, жгучести полуденного солнца и таинственного очарования ночи.

Нашлись, однако, многие, которым заоблачность Тургеневской сказки, её полная отрешенность от современности крайне не понравились. Ни прелесть поэтического языка, ни яркость вымысла, ни блеск красок не могли подкупить этих суровых Катонов. Негодуя, они говорили: «Вот до ка-

кого барства можно дойти, живя за границей, вдали от родины, не волнуясь её интересами, не радуясь её радостями, не печальясь её печальями? Ведь это насмешка: в наше время, когда тревожная общественная мысль лихорадочно работает надо жгучими вопросами минуты, избавляться какими-то сказочками, какими-то малайцами с вырезанными языками и сомнамбулистическими амурами?...»

Односторонние, прямолинейные люди! отчего вы так мало обратили внимания на эпиграф «Песнь торжествующей любви», на Шиллеровское «Wage du zu träumen und zu irren»? Не слышится ли вам из него глубокая скорбная нота, желание уйти далеко, далеко от этой милой современности, постоянным созерцанием которой можно довести себя до полной меланхолии? Будто потребность забыться чем-нибудь фантастическим, заняться решением какого-нибудь вопроса, находящегося вне времени и пространства, – будто эта потребность не такая же настоящая, как и все другие душевные потребности? И затем, в конце концов, разве тема «Песни торжествующей любви» такая уже «несовременная», разве психология страсти так уже до нас никакого касательства не имеет?² Человеческое-то сердце ведь одинаково волнуется и во времена renaissance, и в эпоху торжествующей свиньи. И разве же не поучительно в эпоху торжествующей свиньи читать о «торжествующей любви» и, видеть, что

² К сожалению, любви-то торжествующей мы и не видим в художественно написанной сказке И. С. Тургенева.

сердце человеческое есть величина себе самой равная во все времена и у всех народов? Да, торжествующая свинья – явление временное, преходящее, а вот законы человеческого сердца, это явление, вечное и никакие торжествующие свиньи не могут возыметь над ним власти.

Перейдем теперь к Щедрину, самому энергичному, самому «животрепещущему» из деятелей плеяды, на которого годы и «независящие обстоятельства» производят самое необычное действие. На пороге глубокой старости, его талант с каждым годом становится все могучее и могучее, доводя, по временам до Свифтовской силы; а что касается «независящих обстоятельств», то чем они круче, чем больше они гнетут, тем определеннее становится миросозерцание сатирика и тем цельнее, значит, его творчество.

Пословица «нет худа без добра» ни на чем так блистательно не оправдалась, как на творчестве Щедрина. Крутые времена дали Щедрину то, отсутствие чего сильно вредило ансамблю его литературной физиономии, – они дали ему строго-выдержанное миросозерцание. Было время, когда Писарев вполне основательно называл сатиру Щедрина «цветами невинного юмора». Действительно, невинного, потому что юмор, направленный безразлично во все стороны, всюду выискивая смешное, тесня соприкасается с балагурством и простым, зубоскальством, лишенным какого бы то, ни было общественного значения. Идеал нужен, во имя которого караешь, – только тогда и можно надеяться на то, чтобы

«ridendo castigare mores». А вот такого ясного идеала и не было у Щедрина ни в то время, когда о нем писал Писарев, т.-е. в начале шестидесятых годов, ни несколько лет, позже, когда «климат» продолжал еще быть довольно благодатным. Над чем в самом деле не смеялся наш сатирик? – Над земством, над помпадурками; над реакционерами, – над либералами, над *Московскими Ведомостями*, над «старейшей российской пенкоснимательницей», над подъячими, над гласным судом, – словом, над всем, что имеет смешные стороны. А так как смешные стороны есть во всяком самом возвышенном человеческом деянии и даже на солнце пятна есть, то и получалась в результате сатира ради сатиры, безучастной смех, которому в сущности ни до чего дела нет.

Но по мере того, как благодатные зефиры стали превращаться в удушливый самум, муза Щедрина все более и более теряет характер безразличного зубоскальства. Точно также как в большинстве русского общества крутые времена выработали ясные желания относительно будущего и сплотили в одно те идеалы, которые более или менее бесформенно носились в умах людей, не потерявших человеческого образа, – так и творчеству Щедрина они дали определенное направление, подсказанное негодованием на творящееся кругом безобразии. Стрелы своих насмешек сатирик направляет теперь уже не во все стороны, а бьет он ими в одну топку, в то больное место русской жизни, которое своим гниением заражает весь народный организм. Уже не холодный во атому

юмор «надсмешника», а злобная ирония, облитая желчью и кровью, слышится в Щедринских произведениях последних лет. И если не всегда ясен в них идеал автора, то, во всяком случае ясно, что ему особенно ненавистно: «He was a good hater», т. е. он умел хорошо ненавидеть, – говорит.

Щедрин тоже умеет ненавидеть. И чем сильнее враг, чем несокрушимее он, тем могучее размах его сатирического бича, тем крупнее полет его сатирического гения.

В прошедшем году злоба Щедрина имела, к сожалению, слишком много поводов быть доведенной до крайности. Никогда еще реакционная сволочь не поднимала так нагло бесстыдной головы своей, никогда еще темные силы Русской земли не преследовали свои гнусные цели с таким бесшабашным цинизмом, как именно в прошлом году. И оттого так грозна была Щедринская сатира в прошлом году, оттого и достигла она Свифтовской силы. Диалог «торжествующей свиньи» с «правдой» исполнен такой страшной иронии, столько в нем затаенной злобы человека, которого стихийною силой пригнуло к земле, но который тем не менее сохранил в себе гордое стремление к небу, что по истине жутко становится. Свифт едва ли злее был в своих «сказках». По-немецки есть выражение «Galgen humor». Это означает юмор висельника над самим собой в ту минуту, когда его ведут на казнь. Весело от него едва ли бывает. И вот в диалоге правды с чавкающим рылом торжествующей свиньи именно такой Galgen humor заключается, – юмор карася, видяще-

го, что исполняется его любимое желание быть изжаренным в сметане.

Разговор торжествующей свиньи с правдой, без сомнения, одно из крупнейших явлений литературной летописи прошлого года. По нем будущий историк составит себе прекрасное понятие о тех периодах русской жизни, когда вдруг глухо-наглухо завешивается окно прорубленное в Европу.

В творчестве Щедрина «Разговор» также составляет один из кульминационных пунктов. По степени сатирической едкости и безграничности отчаяния в параллель к «Разговору» могут идти только «Игрушечного дела людишки» – тоже чисто Свифтовская вещь, натканная в один из бухарских интервалов русской жизни.

II

От «животрепещущей» сатиры Щедрина перейден к другой не менее «животрепещущей» литературной злобе дня – к «мужицким беллетристам» и их деятельности в прошлом году. И в самом деле, что как не мужицкая беллетристика прежде всего бросается в глаза, когда знакомишься с современной литературой? До такой степени эта мужицкая беллетристика загромождает все наши лучшие и не лучшие журналы (эс-букетный *Русский Вестник*, конечно, составляет исключение), до такой степени в литературе только и разговора, что о мужике да о мужике, о кулаке да о мироеде, что любители изящного чтения просто в отчаяние проходят. Это, впрочем, такие, которые кротким нравом от родителей своих одарены. Более же строптивые – те ужасно ругаются. В бешенстве один такой любитель говорил мне, что он бросил толстые журналы и перешел к Ахматовским переводам. «Что же поделаешь, – говорит: – читать хочется, а читать нечего. У Ахматовой, по крайней мере, от мужика отдохнешь. Точно, в самом деле, кроме мужика ничего уже на свете и не существует».

Удивительно, право, как раз укоренившаяся аномалия действует на людское мирозерцание. В литературе слишком много говорят о мужике, слишком много ему посвящают внимания!.. А вот замечательно, мам никто не протесту-

ет против того, что в романах (все о любви говорят. Ведь, ей-богу, на свете куда меньше любят, нежели обкрадывают и объегоривают мужика!..

В чести многогрешной «интеллигенции», и именно той части её, которая больше всего подвергается нападениям народолюбцев Охотного ряда, она не считает, что мужик может занять слишком много места в литературе такой страны, которая на из него же, мужика, состоит. С каждым годом мужицкая литература все больше и больше приобретает права гражданства в русской «словесности», все более и более выясняя потребности народной души, изучая все тщательнее и тщательнее народные нужды и тяготы. Это изучение, это проникновение в народную сердцевину есть начало того великого единения интеллигенции и народа, которая удесятелит силы интеллигентного русского духа я даст ему прочное содержание.

В нынешнем году количество мужицкой литературы, и не только беллетристики, а вообще литературы, трактующей о мужике, было поистине подавляющее. Точно сговорились все. В так-называемых «внутренних обозрениях», в политико-экономических этюдах, в ученых исследованиях, в повестях, романах и очерках с замечательным единодушием разрабатывался «народный вопрос». Видно, назрело это; видно, не может дольше продолжаться порядок, при котором о всех в доме заботятся, кроме хозяина, кроме того, кем держится я крепнет весь государственный организм.

Больше всех уделял мужицкой литературе место тот орган печати, который чаще других подвергается упрекам в «оторванности» от народной почвы, в «надругании» над народной «святыней» и т. д., то есть *Отечественные Записки*. Я не стану опровергать всех этих упреков, потому что в них есть известная доля правды. Де знаю, как там относительно «надругания» над «народною святыней» (ибо в том ли еще «народная-то святыня» сидит, в, чем ее г. Аксаков, наприм., полагает); но что касается «оторванности», то, если хотите, *Отеч. Зап.* действительно в известной степени в ней повинны. Все дело только в том, что не так они «оторваны», как это очень многие себе представляют. Не от недостатка любви, а от избытка. Знаете, есть матери, которые страстно, безумно любят своих детей, жизнь готовы за них отдать. И однако же, эта безумная любовь не мешает им не ставить ли в грош душевные потребности любимых существ. Поговорите с такою матерью и вы от неё услышите, что нельзя «дитяти» дать действовать по своему «детскому» разумению, что это ему непременно повредит и т. д., А между, тем дитяти, уже перевалило за двадцать, оно уже полный человек с своим собственным цельным нравственным миром, с своими идеалами, целями и стремлениями.

В отношении к народу *Отеч. Зап.*, представляют собою именно такого рода нежную мать, в одно и то же время любящую и презирающую своего ребенка, устремляющую все свои силы к благу его и недоверяющую его дееспособности.

Основанные в нынешнем строем виде великим печальником горя народного, *Отеч. Зап.* с первых же пор высоко подняли знамя народолюбия, которому ни разу ни изменили. Кто знаком с поколением современных поборников народного дела, тот согласится, со мною, что оно выросло преимущественно на *Отеч. Записках*. Никто не станет отрицать того, что огромная доля симпатий к народу имеет своим первоисточником поэтическую проповедь Некрасова. На Некрасове выросло целое поколение народолюбцев; Некрасов первый открыл, им глаза на окружающее, – доказал, в каком направлении должен действовать человек, не потерявший человеческого облика. Другой «столп» *Отеч. Записок* – г. Михайловский – тоже не мало содействовал насаждению народолюбия среди нового поколения, систематизируя его и придавая ему более или менее стройный вид.

Таким образом заслуги *Отеч. Записок* народному делу несомненно громадные. И за всем тем они, как та любяще-презирающая мать, никак не хотят признать, что совсем уж не такая *tabula rasa* – народная душа, что совсем уж не так нередко нуждается народ в том, чтоб его «направляли», что есть, словом, у народа свои душевные устои, которых обойти с высоты, своего интеллигентного величия никак невозможно.

Вот в каком смысле следует понимать «оторванность» *Отеч. Записок* от народной почвы. Еще раз повторяю: не от недостатка любви она происходит, а от избытка, от боязни,

что предоставленный себе самому народ попадет в безвыходную кабалу к тайным силам Русской земли!

Я потому завел речь об «оторванности» *Отеч. Записок*, чтобы констатировать, что она теперь несколько ослабевает и что в нынешнем году почтенный журнал сделал не одну уступку тому течению русского «народничества», которое полагает, что у народа есть слоя весьма крепкие идеалы и что интеллигенция безусловно должна принять их во внимание.

Ярче всего ослабление матерински-покровительственно-народолюбия *Отеч. Записок* сказалось на лучшем современном бытописателе народной жизни – Глебе Успенском. До сих пор г. Успенский был главным представителем пессимистского взгляда на собственные силы народа. Еще каких-нибудь два года тому назад он не видел в народе решительно ни одной такой черты, которую не следовало бы кассировать при переустройстве народной жизни. Он говорил, что народ так страшно бедствует и потому долг всякого порядочного человека помогать ему по мере сил, но что все-таки нельзя обойти того факта, что народ страшно груб, жесток, корыстолюбив и т. д. По мнению г. Успенского выходило, что чувство общинности, на которую так нападают «идеализаторы» народа, ведет не к спорности, а к тому только, что в общинниках развивается страшная мелочность, шпионичаньи с целью предупредить, чтобы, сохрани Бог, кто-нибудь из общинников как-нибудь не воспользовался бы чужим добром. Что же касается другого столпа, на котором «идеализаторы»

строят свое восторженное отношение к народу, т. е. раскола, то г. Успенский жестоко смеялся над этим «увлечением» и находил, что раскол есть не что иное, как старый, стоптанный, никуда негодный сапог.

От этого пессимизма г. Успенский теперь в значительной степени излечился. Если он и продолжает по-прежнему «трезво» изображать «неприглядные» стороны народной жизни, то все-таки начинает усматривать в народе и кое-что достойное уважения. В прошлом году в ряде превосходных очерков под общин названием «Без определенных занятий» и затем в «Пришло на память» г. Успенский уже совсем, совсем не тот угрюмый брюзга, который своим скептицизмом так злил «идеализаторов». Как приятно было «идеализаторам» знакомиться с следующим наблюдением г. Успенского. Описывает он, как к некоему арендатору Демьяну Ильичу нанялась артель косить сено, на его харчах. «Трудновато бывало Демьяну Ильичу в непогоду, когда вдруг зарядит дождь и когда волей-неволей приходится даром кормит. Еще день-два как-нибудь переждать можно, но бывает, что целую неделю нельзя ни на что взяться, и тогда между Демьяном Ильичом и рабочими происходит нечто в высшей степени драматическое: *рабочим совестно ест задаром*, Демьяну Ильичу совестно сказать об этом, да и отпустить хороших рабочих не хочется; а кормить по-напрасну страсть как обидно. В такие минуты все мучаются – и Демьян Ильич, и рабочие, все вздыхают и едят с мучениями и терзаниями совести» («При-

шло на память», *Отеч. Зап.* № 2). Как не согласуется эта тонкая деликатность с представлением о страшной жадности и корыстолюбивой бессовестности, которую так любил выискивать г. Успенский для «отрезвления идеализаторов».

В том же очерке «Пришло на память» есть фигура крестьянской девушки Варвары. Помните стихи Некрасова:

Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц

.....

Красавица, миру на диво,
Румяна, стройна, высока,
Во всякой одежде красива,
Ко всякой работе ловка.
И голод, и холод выносит,
Всегда терпелива, ровна...
Я видывал, как она косит:
Что взмах – то готова копна!

.....

Такого сердечного смеха
И песни и пляски такой
За деньги не купишь. «Утеха»! –
Твердят мужики меж собой.
В игре ее конный не словит,
В беде не сробеет – спасет:
Коня на скаку остановит,

В горящую избу войдет!

Выбросьте только физическую красоту и вы получите образ Варвары, удивительно цельный и обаятельный. Это одна из тех богатых натур, которые обдают вас лучезарным светом своего нравственного существа и заставляют уверовать в лучшие стороны человеческой природы. Но вместе с тем Варвара – и типически-крестьянская натура; она крестьянка насквозь во всех своих качествах и симпатических сторонах. И потому-то так знаменательно найти этот прелестный образ именно у г. Успенского, которого уже никто не решится упрекнуть в идеализировании.

Отделан г. Успенским образ Варвары с замечательной теплотой. Видно, сам он отдыхает на нем; видно, самому ему приятно показать этот перл, выловленный в народном океане. Одним отрицанием и «отрезвлением» не проживешь и ужасно рад будешь, если после длинной полосы скептицизма есть возможность остановиться на чем-нибудь бодрящем.

Чтобы покончит с г. Успенским, отметим, что и на раскол он теперь уже совсем иначе смотрит. Восторженно говорит он в одном из очерков «Без определенных занятий» о русском сектантстве, видя в этих «алчущих и жаждущих правды» залог светлой будущности народа. О, это уже совсем не тот изношенный, стоптанный сапог, которым был раскол для г. Успенского года три тому назад. Нет, это уже семимильные сапоги-скороходы, при помощи которых далеко пойдет

народ паям по пути духовного развития.

Столь же неутомимо, как и г. Успенский, работал на пользу народному делу и другой корифей мужицкой беллетристики – г. Златовратский.

В прошлом году он дал пять «Очерков деревенского настроения», два очерка «На родине» и «Приезд в деревню», знакомый читателям *Русской Мысли*.

Еще до недавнего времени гг. Успенский и Златовратский считались главарями двух равных направлений в мужицкой литературе: г. Успенский – «отрезвляющего», г. Златовратский – «идеализирующего». Но теперь разница значительно изглаживается. Про г. Успенского нам уже известно, что он сделал значительные уступки «идеализаторам». Что же касается г. Златовратского, то он, в свою очередь, тоже в известной степени изменился, утратив ту сентиментальность, которая ослабляла жизненность его прежних произведений. Оба направления, таким образом, сделали друг другу уступки и в результате получилось по истине трезвое изображение народной жизни, чуждое и сентиментального преувеличения, но я неповинное в излишнем оплевывании народных «устоев».

В «Очерках деревенского настроения» г. Златовратский старается уловить умственную и нравственную физиономию «новой деревни», с её потрясенными от напора Колупаева основами, с её «умственными» мужиками, из которых неизвестно еще что вылупится: кулак чистойшей воды или же

просто основательный земледелец, которому уже никак на шею не сядешь, как это бывало с мужичками «доброе старое время».

Самым драгоценным выводом г. Златовратского нельзя, конечно, не признать того, что «массовая душа – это тот лед, который может быть внутренне воспламенен до 180°, незримо и непонятно для стороннего глаза, выработав эту теплоту в своей внутренней лаборатории. Но один момент, один порыв, одно, может-быть, очень ничтожное обстоятельство – и внезапно вся эта, сконцентрированная годами незримой работы, сила неудержимо освободится из оков тайны и расплавить мгновенно самый лед, озарив освободившимся светом и теплом все, что в безнадежном холоде жило вокруг» («Очерки деревен. настроения», *Отеч. Зап.*, февраль).

Той же «новой деревней» занимается и другой крупный деятель мужицкой литературы, г. Энгельгардт. В прошлом году он поместил два письма из длинной серии «Писем из деревни», тянущихся около десяти лет. Одно из них, описывавшее некий «Счастливый уголок», где крестьяне живут «припеваючи», произведено большую сенсацию и послужило темой оживленных печатных и устных толков.

Письма г. Энгельгардта представляют собою очень оригинальную смесь беллетристики и публицистики, написанную очень метким и свободным языком. Благодаря этому, письма г. Энгельгардта очень много читаются и притом даже та-

кими, которым сюжеты, трактуемые почтенным профессором, «скучны». Главное их достоинство заключается в том, что г. Энгельгардт всякий вопрос ставят резко и без, всяких виляний. «Нельзя не признаться, хотя должно сознаться» – вы у него никогда не найдете. Ни пред какими авторитетами и «веяниями», даже самыми «либеральными», он не останавливается и правду-матку там в глаза и режет. Известна его резкая выходка, несколько лет тому назад, против кооперативного сыроварения. Кооперативное сыроварение считалось у нас делом крайне «либеральным», крайне передовым явлением. А вот пришел г. Энгельгардт и без дальней колебаний отрезал, что либеральное сыроварение идет на счет жизни крестьянских ребятишек: прежде молоком их поили, а теперь это самое молоко на кооперативную сыроварню несут и ребятишки потому мрут как мухи.

Вот и в разбираемых двух письмах г. Энгельгардт самым резким образом ставят модный теперь вопрос о соотношении помещичьего хозяйства и крестьянского труда. Известно, сколько есть проектов и планов примирить эти два интереса, устроить так, чтоб и у помещика были рабочие руки, и чтоб эти рабочие руки не бросали бы своей земли и не разоряли таким путем свое хозяйство. Г. Энгельгардт необинуясь, прямо, заявляет, что помещичьи интересы и крестьянские – вещи диаметрально противоположные, что примирить их нет никакой возможности и что какая-нибудь сторона должна уступить свои права на землю. А так как крестья-

нин не может уйти от земли, то уйти должен помещик.

С такой же ясностью и резкостью показывает г. Энгельгардт, как так-называемое, «оживление» торговли есть непосредственная причина крестьянской голодовки. Опять значит «натравливание» сословий... Одним словом, беспокойный человек!

И как же, однако, скромнен этот «агитатор», когда, оставляя «критику», переходит к положительным требованиям. Вот, например, описывает он несколько деревень, которым дает название «Счастливого уголка», потому что обитателям его живется «хорошо». И что же, однако: «если кто-нибудь, незнакомый с мужиком и деревней, вдруг будет перенесен из Петербурга к небу крестьянина „Счастливого уголка“, и не то, чтобы в избу средственного крестьянина, а даже в избу „богача“, то он будет поражен всею обстановкой и придет в ужас от бедственного положения этого „богача“ (*Отеч. Зап.*, февраль, стр. 378). Не думайте, что г. Энгельгардт иронизирует, – нет, он от души доволен „благосостоянием“ „Счастливого уголка“. „В одной из деревень последние два года уже все были богачи, то есть никто хлеба не покупал, у всех хватало хлеба до нови“. И вот такой-то, уголок г. Энгельгардт, желая быть верным действительности, должен назвать „Счастливым“. Мало того, он „мечтает“ о том, чтобы вся Россия покрылась такими „Счастливыми уголками“.

Главным условием образования „Счастливых уголков“ г. Энгельгардт считает освобождение крестьянина от необхо-

димости продавать свой труд постороннему, что лишает его возможности аккуратно вести свое хозяйство и приближает его к состоянию безземельного пролетариата. Для этого нужно, чтобы помещик „ушел“ от земли, пошел бы в город, а землю отдал бы крестьянину (за деньги, конечно; не пугайтесь, пожалуйста, и не подумайте чего-либо зазорного. Сами, славу Богу, как и все люди, в участке прописаны).

Но если совсем не нужен мужику помещик, то весьма ему нужен, по мнению г. Энгельгардта, „хороший“ интеллигент. И вот г. Энгельгардт проектирует „интеллигентную деревню“, чтобы собирались интеллигентные люди большими компаниями, приобретала бы землю с тем, чтобы самим ее обрабатывать, вести хозяйство по правилам рационального хозяйства и таким путем и самим кормиться, и мужикам пример подавать. „Садитесь на землю и не опасайтесь, что вам нечего будет делать среди мужиков. Дела не оберетесь, дела пропасть“. Г. Энгельгардт не настолько, однако, наивен, чтобы рекомендовать образование интеллигентных деревень „интеллигенту“ вообще. Он достаточно пожил на свете, чтобы знать, что интеллигенция и порядочность – вещи совсем не всегда совпадающие. И обращается он поэтому к тем, которые не разрешили еще „проклятых вопросов“, еще „мечутся“.

„Чего метаться! Идите на землю к мужику! Мужику нужен интеллигент. Мужику нужен земледелец-агроном, нужен земледелец-врач на место земледельца-знахаря, земле-

делец-учитель, земледелец-акушер. Мужику нужен интеллигент-землевладелец, сам лично работающий землю. России нужны деревни из интеллигентных людей“.

„Интеллигентный человек нужен земле, нужен мужику, – говорит еще раз г. Энгельгардт, в заключение своего призыва. – Он нужен потому, что. нужен свет для того, чтобы разогнать тьму. Великое дело предстает интеллигентным людям. Земля ждет ил и место найдется для всем“.

Найдется ли? Вот в тех же *Отеч. Записках*, в декабрьской книжке, внутренний обозреватель рассказывает истерию одной попытки устроить „интеллигентную деревню“. Грустная история!

Не много, веселья и в остальной» части мужицкой беллетристики. Все то же «надоевшее» г. Буренину «нытье» о безысходной нужде крестьянской, о кулаке, опутывающем мужика по рукам и ногам, об уряднике и становом, мудрующих под деревней в силу «данной им власти» тащить и не пущать, и тому подобные занятные сюжеты. Не только от одного пристрастия к изящной словесности, иной раз сбежишь от них к переводам с гишпанского г-жи Ахматовой!

Чтоб и читателю не очень надоест своим «нытьем», ограничусь кратким перечнем остальных выдающихся явлений мужицкой литературы прошлого года. Новых, более утешительных, сведений в них нет, а тоску лишнюю нагонять за чем же.

Кроме журнальных очерков, г. Успенский дал в нынеш-

нем году отдельное издание всех своих деревенских рассказов последнего времени, под названием «Деревенская неурядица». Такое же издание сделал г. Наумов, известный бытописатель жителя-бытия сибирского крестьянства. Книга г. Наумова очень сочувственно была принята публикой и критикой, которая по достоинству оценила симпатичное дарование автора характерных рассказов из жизни нашего «золотого дна», стараниями добрых людей превращенного чуть ли не в геену огненную. Нового г. Наумов в прошлом году дал несколько очерков в, написанных со свойственной ему теплотой и выразительностью.

Г. Немирович-Данченко познакомил публику с «Крестьянским царством» и бытом горнозаводского населения Урала. О «Крестьянском царстве» мне в *Русской Мысли* говорить не приходится. Что же касается уральских очерков г. Немировича, то они написаны с присущим ему талантом и яркостью колорита. Жаль только, что колоритность эта по временам очень уж ярка, так что наводит на некоторые размышления, не всегда выгодные для автора.

Недурны были в *Деле* рассказы из «Жизни южно-русского села» г. Потапенко. Один из них – «Редкий праздник» – рисует очень любопытную картину деревенского «Strike'a». Хотели было «извлечь выгоду» из мужичков, да, славу Богу, ничего. Не дали себя в обиду. Отстояли.

Также весьма недурен рассказ г. Салова, – «Николай Суетной» (*Отеч. Зап.*, № 10), описывающий один совсем, со-

всем «удивительный» случай, мужику представился случай разбогатеть путем сделки с совестью: его набожного православного, совращали в молоканство и от такого впадения в ересь ему, предстояло разбогатеть, – и тем не менее мужик от такой сделки отказался. Положим, что не единым хлебом сыт человеку, но ведь мужик-то и хлебом не очень сыт.

Следовало бы мне, собственно, побеседовать о г. Эртеле, одном из весьма теперь заметных писателей из народной жизни. Но в его «Записках степняка» так тесно переплетаются между собою изображения народной жизни с изображением жизни интеллигентной, что уже лучше отложу речь о нем на-дальше, при рассмотрении «общей» литературы прошлого года. По этой же причине не скажу теперь ничего об очерках г. Тверского «Не к полю ягоды» в *Вест. Европы*.

В заключение отмечу еще два-три явления мужицкой беллетристики. Г. Федосеев напечатал в *Слове* любопытные рассказы из жизни наших сектантов, которые с интересом прочтутся людьми, привыкшими смотреть на раскол не как на догматическое только изуверство. В *Отеч. Зап.* г. Федосеев поместил «Бабушку-генеральшу», написанную не то чтоб очень хорошо, но любопытную тем, что характеризует собою борьбу двух течений народной жизни: старого, патриархального, когда все более или менее совершалось по «простоте», и нового, «культурного», на первых же порах познакомившего добродушных Козаков (из их жизни рассказ) с «векселёчками», «неустоечками», «процентиками» и тому

подобными вестниками цивилизации.

Раз зашла речь о г. Федосеевце, нельзя не упомянуть о его замечательной «программе для собирания сведений о расколе» (*Отеч. Зап.*, No№ 3 и 4). Автор выказал в ней блестящее знакомство с предметом и верное понимание движений народной души. Совершенно справедливо упрекает г. Федосеевец в предисловии к своей «программе» русскую интеллигенцию за то, что она до сих пор так мало обращала внимания на самое крупное явление русской народной жизни и не овладела социологическим фактором такого громадного значения. И эти упреки делаются в *Отеч. Зап.*, которые года три назад объявили раскол стоптанным сапогом. Ну, не знамение ли тут времени, не победа ли нового народничества, преклоняющегося пред народными идеалами, над старым, смотрящим на эти идеалы как на остаток старого варварства?...

Этому же первостепенному социологическому фактору русской жизни были посвящены замечательные очерки г. Пругавина: «Алчущие и жаждущие правды». Но об этом мне опять-таки не приходится распространяться на страницах *Русской Мысли*.

А теперь я могу закончить свой отчет о мужицкой беллетристике прошлого года. Упомяну еще раз о симпатичном рассказе г. Баранцевича «Они» в «Отклике». Появилось-то в прошлом году, полонян, гораздо больше мужицкой беллетристики, нежели я отметин, да не о всем говорить стоит. О

том, что хорошо, я сказал; а о том, что дурно, лучше умолчу. Ведь в большинстве этого дурного нетрудно отыскать хорошее намерение так или иначе содействовать разрешению «народного вопроса». Будем и за это благодарны.

(Окончание следует.)